

ПИСЬМО В НИКУДА

В о первых строках сообщаю, что как есть пришедши из леса, где я собственной персоной готовил из молодых берез черенки для вил и лопат и *наслаждался величием природы*, как выражаются городские поэты. В то же время Шарик забурился под корни буреломной кедрины, замыслив докопаться до бурундука, благоразумно юркнувшего в норку, и на природу плевал глубоко и конкретно, а когда я выдернул его за хвост, оглянулся с таким видом, как будто хотел сказать: «Ты кого тянешь, падла?!»

...Шел сегодня по брошенному совхозному полю, в котором бродили чьи-то тощие коровы, как вдруг вспомнилось что-то такое из юности, с таким же мглистым осенним днем. И стало грустно, хоть плачь! Но и светло, как в осиннике, когда листья осыпались и в голых ветках — синь, небо, клин гусей, след от пролетевшего самолета. И тем отчаянней возмечталось, чтоб рука об руку шла любимая женщина: взять, подвинуть за плечи, поцеловать. Сказать, что долго ждал...

В лесу медведь ископал муравейники, поставил на по́па камни у дороги. Осень, пора подыскивать берлогу, а он все быкует! Шарик несколько раз отрывисто рявкнул в глубину леса — туда, где треснул сушок, и в его голосе было много понимания и правоты.

Видел на большой пихте чье-то гнездо и рядом, на сучке-рогатке, за-
ячью лапу. Вероятно, здесь живет какая-нибудь языческая богиня, по
утрам ударяется о землю и превращается в красну девицу, бродит с лу-
кошком и охмуряет бродячих писателей.

На обратном пути срубил березовый камень-кап: на пепельницу (ку-
рить, когда снова будет грустно), или на рукоятку ножа (полоснуть по
горлу, когда — все равно).

Шарик натер лапы, с понурым видом плелся сзади — заматерелый,
постарелый. Шарик-старик. Даже не верится, что жизнь его прошла. А
ведь, казалось бы, еще вчера шатались в здешних лесах весь октябрьский
ветреный день, когда уже лежал снег и жали первые морозы, и такой
пружиной сжималась душа в ожидании первой полайки! В обед пили чай,
задымив костер на пустынном берегу таежной речки, и Шарик нюхал
выплеснутый с опивками лист смородины, и лист — темно-зеленый, на-
превший — остывал на снегу и неизъяснимо хорошо пахнул. И уже было
чем-то лишним, если Шарик вдруг срывался, должно быть, заслышав
звук беличьих коготков, царапнувших дерево, и вскоре начинал баз-
лать — страстно, захлебываясь, если белка сидела на виду и дразнилась.
И хотелось скорее прекратить этот лай, лишь бы снова, как льдинки в
луже, собралась разбитая выстрелом тишина...

Вспоминались любимые стихи:

Не видно птиц. Покорно чохнет
Лес, опустевший и большой.
Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной.

.....
А в поле ветер. День холодный
Угрюм и свеж — и целый день
Скитаюсь я в степи свободной,
Вдали от сел и деревень...

(Подумать только, Бунину было всего девятнадцать, когда он выно-
сил эти строчки, которыми восторгался сам Толстой!)

...И вот Шарик — старик. Не успевает, пропадает из виду. Ждал его
на опушке. Думал о том, как это несправедливо: он постарел, а я еще нет.
И что его скоро не будет... Посмотрел потом на него. А он как будто все
понял. Тоже посмотрел на меня, подняв низко опущенную голову, и тя-
жело так вильнул хвостом. Всего лишь раз-другой.

КОСЫНКА И ОГУРЦЫ

В осеннем лесу — листья и перья рябчиков. И стихи:

От старого охотника — тропа
Останется...

Ничего жизнеутверждающего. Листья — падают. Перья — осыпают-
ся после выстрела. Стихи — сочиняются вслух, в воздух, а стало быть,
исходят сразу в небо, может быть — к Нему.

Только — до слез желание: собирать всей семьей грибы в погожий
день ранней осени, где-нибудь в старом светлом осиннике. Чтобы — груз-
дей под сухой листвой полно! И собака чтобы, бегущая с лаем через лес.
А в обед котелок с горячим чаем, колбаса на дымном прутике и хлеб с по-
следними домашними огурцами — на развязанной косынке...

Никогда так не было и, наверное, не будет.

А ведь просто все! Боже, как просто жить! Только лес, только грибы, только пес, косынка и огурцы.

И стихов — не надо...

ПРИРОДА

В глухом ельнике на речке Казарихе: стальной, с созревшим строяным шейником собачий поводок, привязанный к дереву, полон грустного смысла. Копнуть палкой — ни шерсти, ни костей, конечно, уже нет. А в будущем и тросик сгниет, и шейник расползется на ниточки, и прах станет землей.

В то же время — кроссовок в сосновом лесу за поселковой помойкой: на треть засыпан листьями, хвоей и уже оброс по контуру мшаной щетиной, шнурки выцвели и стали белесыми, похожими на стебли осенней осоки. Внутри — листья и хвоя, а еще — мельчайшие песчинки, которые натаскали муравьи. Так природа забирает чужое, делая его частью себя.

Или вот капкан, поставленный на соболя под кроной кедра. Так же оброс мхом и погребен листьями, прошлогодними и нынешними. Стоит — взведенный — много лет. Самого охотника давно нет. Видимо, скрутило так скоро, что обойти свои тропинки, рассторожить ловушки не успел, а сыновья по сей день не знают, где отец промышлял. А ты подошел, узнав о месте установки этого капкана по свешенному на проволоке истлевшему глухарину крылу, осторожно счистил мох, под которым открылось влажное ржавое железо, спустил пружину — и охотник, ныне покойный, но все это время остававшийся в своей тайге этим настороженным капканом, в следующий миг исчез навсегда и уже безвозвратно.

ОДИН

Когда один в позднем осеннем лесу, в котором много молчания и сильней волчьей ягоды...

...или бредешь одичавшей пашней, поднятой еще твоими предками, но с недавних пор брошенной и заросшей молодыми деревьями...

...продираешься ли некошеной луговиной, где когда-то становились деревенские косари, а теперь в свалывшейся траве чернеют позвонки рухнувших шалашей...

...сидишь ли на пороге ветхой охотничьей избушки, чей хозяин жив ли...

...и если есть в этой избушке какие-нибудь особенно личные предметы, будь то расческа, мундштук из заячьей кости или пожелтелая газета, которую до тебя читали неизвестные тебе люди...

...вообще, бывая там, где никого не встретишь и где сам прежде не был...

...и если светит солнце, низко стелются облака, какие вот так же плыли задолго до твоего рождения, а то и до сотворения всего...

...то мысли твои светлы, как в юности, и вспоминаешь всего себя разом, с самого начала...

...и оттого неумолимай тоска расставания, а из сердца нейдет мысль о том, что был здесь, видел и осязал это все — в последний раз, и таким, как сегодня, уже никогда не будешь...

Так приходит понимание, что смерть есть, прежде всего, прощание с таким собой, каким ты был еще вчера.

КРАСНЫМИ БРЫЗГАМИ

Осень как никогда теплая, нынче днем видел бабочку на геологоразведочном профиле, хотя уже начало октября. Не поверил, подумал: отслоилась пятнистая сосновая шелушинка! Мухи вьются, как летом, а то комар пролетит — гулкий, реактивный.

В лесу тихо, как ватой обложили. И какая-то глубокая исповедальность в этих выставших к зиме родниковых лужах, осыпанных мягкой хвоей лиственниц и дырjавыми, будто выеденными ржой, листьями ольхи и березы.

Вместе с тем, ночами примороз. Снега нет, но бруснику побило. Пробовал клевать щепоткой пальцев — взрывается красными брызгами. Руки, губы, лицо — как в крови! Налипают к пальцам страницы блокнота. И пишешь — как кровью, оставляя яркие отпечатки и вспугивая мысль о том, что следы от съеденной ягоды, пожалуй, важнее слов, которыми описываешь, как, собственно говоря, эту ягоду ел. Так вообще живые, естественно рождаемые свидетельства превыше сочиняемых нами книг и, может быть, только этими свидетельствами запоемнмся, а если и в них не продлится, то не задержимся ничем.

ДОБЫЧА

Спускался под сопку с бусым енисейским сободем в рюкзаке, первым в этом охотничьем сезоне, — возле колена, в карманчике для складного ножа, заверещал телефон (как раз вошел в зону связи, до поселка оставался час ходьбы). Кое-как выскреб: полиэтиленовый пакетик от спагетти, в который я завернул мобильник, примерз к штанине. Монитор запотел и взялся льдистой пленочкой. Подышал — прорвалось по центру влажным кружком, будто разлепляя веки. Разлепило: год, число, время, фотографию Вики вместо заставки. Пульсирующий незнакомый номер...

Звонит заведующий отделом прозы одного московского журнала:

— Повесть хорошая, будем печатать! Пришлите в электронном виде.

...Тоже — добыча, а лучше сказать — фарт, неожиданный уже потому, что пунктирная линия — индикатор сигнала сети — показывает на экране всего один кирпичик. Пройди я мимо этой точки в лесу, где незримый датчик считывает поступающие вызовы, — пожалуй, не принес бы ничего, кроме этого дешевого пришлого соболя. Да и тот, не выскочи на единственный капкан возле речки, прошил бы мою промысловую тропу насквозь, а там ищи ветра в поле. Словом, и тут, и там — не только твое упорство, но и удача, пусть малый, но положительный значок присутствия какой-то всегдашней посторонней силы в твоей жизни, вообще чье-то высокое светлое благодаренье за труд, тщание и тщетное ожидание результата.

СТЕКЛЯННЫЕ СОСНЫ

В ясный морозный день, слущиваемые движением воздуха, на соснах сверкают золотистые чешуйки, похожие на луковую шелуху. Издали кажется, что сосны посыпаны стеклянными крупинками, от каждой из которых ветвятся лучики. Это бывает так редко, что всякий раз похоже на чудо, в которое спустя некоторое время и сам не очень-то веришь. Пока снова не увидишь, как в ясный морозный день сверкают сосны, а человек на лыжах идет по тайге, смотрит на эти стеклянные сосны и чему-то улыбается, смахивая овчинной шубенкой ледышки с ресниц...

Стоит у почты — ресницы, брови, воротник в серебристом инее. Снимет рукавицу, заткнет пальцем ноздрю — выстрелит ледышка, сначала из одной, потом из другой. Сплюнет — плевок летит, обвитый дымом. Обивает валенки у порога: бух-бух!

Таюрский пришел, отворайте ворота...

Ишачил в леспромхозе — вальщиком, потом — «на крючке», которым откатывают бревна. Выслужил 13 370 рублей пенсии. И все бы ничего, да жена попалась вертолобая, из приезжих, заработала северный стаж и умотала. Остался один. Детей, внуков — годами не видит. Но тоски, похоже, не нажил. Изба — прибрана, обихожена, на окнах ситцевые занавески, от порога словно две радуги выплеснуты — тянутся в обе комнаты цветные половики. Дров ли запаста на зиму, крышу, забор ли подлатать, печку ли переложить — все у него в срок, чин по чину. Где сам не управится — наймет за сдельную плату, да еще и накроет в кухоньке, нарежет огурцов собственного соления, достанет грузочки маринованные, тоже своего сбора, выставит заткнутую газетой бутылку домашнего самогона на кедровых орешках. Сам — ни-ни! Пьет чай из травного сбора, в пост — постится, занимается по утрам чугунными гантелями, чтобы жить долго-долго. Сухой, крепкий, вызвеневший на ветру! Из вредностей неизбывает только матерок — соленый, перченый, на конце завороченный. Пересыпает им едва ли не всякое слово...

— Здорово! — орешь ему, вместе с шапкой усунувшемуся в маленькое окошко для посетителей, а он, с министерским видом подписывая какую-нибудь пустяковую квитанцию, делает вид, что услышал по-своему.

— Кто-о кор-ро-о-ва-а?! — И, потянув на всю длину казенной нитки, тычет вокруг себя шариковой ручкой, словно для учета присутствующих:

— Вы — свидетели...

А может, его тоски не видно на людях и, возвращаясь в свою пустую избу, он ничему не рад — ни пенсии, ни гантелям, ни долгой жизни?

...Несет с почты газету — трескучая, как береста. Ругается почем зря, шерстит в рот и в нос президента — за цены в магазинах и деловой кругляк, который денно и ночью шуруют в Китай. Пятилитровая бутыль дешевого подсолнечного масла, взятого в долг под будущую пенсию, на фоне белого маячит желтым — пустынно и нездешне.

ПАЧЕ ЖИЗНИ

Куда ни кинь — солнце и синь! Треугольная тень ельника, шорох камусных лыж да огненный выплеск мышки-полевки, порскнувшей через лыжню...

А войдешь в поселок — рев бензопилы, визг на пришкольной горке, белые субботние дымы над банными крышами!

Две девушки черпают из бочки, поставленной на железных санях у ворот, носят в баню. Горячие, румяные. Деревенские! Несут по два — не

проливают. Только бедрами качают. Грудями тяжелыми, выпуклыми, литыми. Такими, что, кажется, сожми — заскрипят, как яблоки в стадии последнего дозревания.

Когда бочка почти опорожнена и неудобно доставать ведром, которое шкрябает дно, одна из девушек берется за обмерзший полоз и отрывает от земли. Другая, мягко наклонясь, наполняет с противоположной стороны бочки, куда сбежало.

Смотрят так, когда проходишь мимо... Как в юности:

— Ну, догони!..

Пушистые венчики ресниц, круглые щекастые мордочки в конопушках. Грохот опрокинутых на лавку пустых ведер. Взрывной смех забором и таинственный шепот-разговор в предбаннике — о тебе. О том, что прошел с ружьем и лыжами, посмотрел, смутился, отвел глаза, как ошпаренный...

Невозможно захотев этих девственных деревенских яблок, их медового запаха во влажной ложбинке, сахарной сладости на губах, упругого сильного скрипа в руках, вообще возвращенных семнадцати, молодости своей пролетевшей, за которую теперь и умереть не жаль.

ОДНИ НА ЦЕЛОМ СВЕТЕ

1

Он. Она. Саночки из фанеры и двух поставленных на ребро металлических спинок от панцирных коек — вместо полозьев. Ярко-красное, как вишенка, пластмассовое ведро. Идут с проруби в ясный морозный день, везут большую алюминиевую флягу. Он тянет за веревочный повод, она — толкает сзади, помогая забраться по витой дороге на угор. В затертых джинсах, в трикотажных шапочках и тонких демисезонных куртках без подкладки. В ботинках-корочках, которые скользят, сколько ни ищи опоры в незримой дорожной выемке. Вскарабкавшись на угор, валятся: она — на флягу, он — на краешек санок. Дышат в рукава, попеременно поднося ко рту один, второй, и только потом вынимают руки. Руки без варежек. Шевелят пальцами, чтобы протолкнулась кровь. Он — морщась и сплевывая на снег, она — хохлясь и глядя на него с покоряющей женской преданностью, которая перетерпит все: и стужу, и нужу. И снова идут, тянут, толкают, прячут голые руки в рукава. Дышат. Ищут опоры...

Летом сидят с удочкой на берегу, забросив прикормку — проткнутый гвоздем полиэтиленовый пакетик с хлебной коркой и камешком-грузом. Сторожат поплавок. Курят, передавая эстафетой одну на двоих. Те же шапочки, куртки. И то же красное ведро, только с камнем на дне — чтоб не покатило ветром. Жестяная зубастая банка с червями. А моргнет поплавок, нырнет под воду или поплывет, накренясь, — затрепещет в руках серебристый ельчик, песчано-желтый ли пескарь, а потом, ширясь темным пятном сквозь просвечивающую пластмассу, стоит в ведре, налитом до половины. Спустя час-другой: идут, сложив удочку, медленно поднимаются по все тому же взвозу на угор, и в ведре — десяток таких живых теней, маленьких жизней...

На вид нет и тридцати. Приехали прошлым летом из райцентра, поселились в свободной квартирке. Нигде не работают, огород не сажают, ходят с бессмысленными глазами. Сальные спутавшиеся волосы, темные пепельные лица, вытекшие угри с красными кровящими точками. Вроде

бы подстерег местный делец, лисей хитростью выписал из городской квартиры, заманил в поселок и бросил. Частью этот слух подтверждается тем, что иногда они объявляются под окнами его трешки. Сначала свистят, заложив пальцы в рот, а затем трясут хлипкий штaketник. Когда никто не выходит — грозят, стараясь быть увиденными и услышанными кем-нибудь еще:

— Мы тогда все-е мусорам расскажем!

И никому не рассказывают, получают от дельца какие-то передачи, снова сидят с удочкой на берегу, зимой — везут флягу. Ходят с открытыми шеями. И она подбирает заходящихся в трепете рыбешек, подпирает флягу, дышит на руки, смотрит на него черными, как нефть, глазами. И в поселке о них болтают:

— Намрики! Коноплю закрутят, у-ух — дунут. «Травка зеленеет, солнышко блестит, птичка прилетает, к нам в окно глядит...»

2

А у тебя и этого не было, так что, уходя, ничью любовь не унесешь с собой, а оставшись, затаишь в сердце такую тоску, что и участь этих двух несчастных покажется милостью Господней в сравнении с той несказанной ширью жизни, что раздвинута для тебя за право владеть талантом, но, похоже, век скитаться тебе в этой пустыне один на один со своим одиночеством и сякнувшей год от года надеждой встретить родную душу.

СОПКА

Долго маялся, готовя себя к задуманному еще в прошлом году рассказу. И вот, пошатавшись с утра, вдруг повел его — со страстью, с хрипом и кашлем до рвоты, как всегда у меня. Выкашлял первые страницы: Володя прощается со своим студенчеством и покидает большой город. В последующие дни обработал начатое, довез (с рессорным скрипом) своего героя до поселка, дал ему повздыхать вволю — сначала в поезде, потом на станции районного городка, в автобусе и, наконец, по месту будущего жительства. Чуть-чуть описал сам поселок, зачем-то подробно — печника (выдуманного), и уже вышел из рассказа в повесть, как со двора в поле. Параллельно с работой над текстом делал множество записей в тетрадь. Вот и взвалил на себя непосильную ношу, и выдохся, и свесил язык, и озлобился на собственный текст, и к исходу дня трижды отрекся от него...

Случилось это на пятый день. А в понедельник, с утра повозившись с трупом, надел охотничьи лыжи и, выйдя за поселок, спустился под речной угор и подался на другой берег Лены. Поднялся по распадку на свой промысловый путик, а уже по нему на заросший ерником геологоразведочный профиль, сделал порядочный крюк, лишь бы утомить себя и в этом утомлении забыть, — и повернул обратно, стремительно съехал с хребта, ломая занастившийся снег и глотая ледяной воздух. Но пока взбирался на хребет, где по колено, а где по пояс проступаясь в убродных сугробах, пока брел по старой занесенной лыжне, а потом по профилю, переметенному февральскими буранами, пока отдыхал на поваленной сушине, сняв дымящуюся шапку, — Бог мой, какая тяжель стояла в груди, какая смертельная тоска глодала, ела поездом за мое несовершенство и неумение писать, являя себя в слове, за то, вообще, что все мое — вторично в сравнении, а само по себе, как оказалось, и гроша медного не стоит!

И еще то — и особенно это! — волновало и мучило в эти жестокие минуты, что сам процесс задумывания повестей и рассказов не иссякал, образно говоря — лущились заветные зерна, а муки не было. То есть происходило холостое вращение неких шестерен, с которых соскочил приводной ремень, соединявший их с подвижными частями ходовой тяги, и я боялся, что при убыстрении скорости, высвобожденной от вращения всего механизма, перетрется какая-нибудь незаменимая ось и что-то навек обломится во мне. И тут в самом деле требовалось «великое мужество писателя», о чем говорил Юрий Казаков, а еще — долгое земное терпение и, как ни странно, — фальшь. Ну да, фальшь! — для того, чтобы убедить себя в значимости себя, устранить неполадку, а уж потом погнать душу в белые листы, как в зимнюю безлесую сопку, к холодной продутой вершине, и пусть никогда не взойти на нее, но радоваться самому восхождению.

КРЫЛЬЯ

Непогода весь день, мрак, ветер, и то едва дребезжит, когда ветер тише, то захлебывается винт деревянного самолета, вытесанного мною после того, как забрался на крышу и увидел, что старый рассохся и стал крошиться. Тот, первый, я установил в год окончания школы, новому от него достались лишь алюминиевые крылья, и есть в этом тайный символ, как будто крылья достались мне, теперешнему, от семнадцатилетнего меня. Но не только дерево взялось трещинами и со временем пришло в негодность, не только я постарел! Даже винт из нержавеющей стали перетерся и валялся на полпути к водостоку, должно быть, смытый туда дождями или оползший с весенним снегом. Пришлось вырезать и выгнуть другой, просверлить в центре и навесить с носовой части. Я выточил ее заостренно, сообразно со строением птицы, то есть как это и задумывалось первыми авиаконструкторами. И когда, наконец, мой самолет был готов, отполирован шлифовальной бумагой и в завершение покрыт распыленной из баллончика серебрянкой, я снова взлез на крышу, как, например, взбираются, чтобы водрузить знамя или флаг, и закрепил свое детище на длинной железной трубке, повернув на запад винтом, хвостом на восток. Винт почти сразу дернулся, словно в нем проклюнулась живительная искра, а уже через миг раскрутился до прозрачного кружочка и с подвывом загудел. Я сидел на коньке, курил сигарету и слушал и, может быть, в этот момент возвращался, как на спине фантастической птицы. Ну а если и не возвращался, все равно по-своему это было хорошо — ветер, самолет! Пусть и дальше гудит в тревожные минуты жизни, напоминая о днях ее, которые, как известно, скоротечны и вот уж действительно невозвратимы, если не считать этого снова объявившегося в моей судьбе самолета. А там, глядишь, еще что-нибудь вернется ко мне — чистое, юношеское, просящее лишь крыльев и неба.

«А ВЕСНОЮ УЖАС БУДЕТ ПОЛНЫЙ...»

Поднималась и шла, как несметная сила. Стремительная и полноводная, наполняла берега по самую кромку. Выползала на угор, заливала приречные луговые низины. По рытвине на Затоне двигалась в сторону деревенского кладбища. Плыли деревья, доски, лодки, теплицы с дачных садоводств. Деревенская пацанва, мы ловили рыбу в устье Казарихи, от-

делившей Казарки от Подымахино. Свежесрубленные сосновые удочки, еще смолистые, прилипали к рукам. Дядя Вася Саманчук ехал на красных «Жигулях» шестой модели. Притормозив, отворял дверцу и пугал, весело скаля железные зубы:

— Ну, все, хлопцы, хана вашей рыбалке! Скоро гробы поплывут...

И мы, забыв про поплавки из пробок от винных бутылок, с ужасом смотрели на мутную воду и потом, вечером, вернувшись с рыбалки, то и дело бегали на угор, сидели в сумерках у реки, как на берегу мифологической Леты, и ждали, а ночью ворочались в своих страшных снах и разметывали одеяла...

Назавтра шли в школу, поднявшуюся в два этажа над Леной. На переменах выходили за калитку, смотрели на огромный кипучий простор. Шапки пены вились на течении, как чьи-то большие плевки, и мы кидали в эту пену камни, совали палки, а между делом передавали дяди-Васины вещие слова. И вскоре не мы одни, а вся школа выходила на угор и ждала. А на уроке учительница, встав с книжкой у окна, за которым ярилась вода, грозя подмыть берег и уронить школу, как будто нарочно читала тихим голосом:

Я умру в крещенские морозы,
Я умру, когда трещат березы.
А весной ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны!
Из моей затопленной могилы
Гроб всплывет, забытый и унылый,
Разобьется с треском,

и в потемки

Уплывут ужасные обломки...

Все это, все эти вещи, слова, впечатления смешивались, наплывали друг на друга, как весенние льдины, и сочетались, словно в калейдоскопе, рождая причудливую картинку. На ней и спустя годы все как прежде: течет река, рыбачат ребятишки, дядя Вася едет на допотопной «жиге». И школа из белого кирпича стоит на угоре, постаревшая учительница читает у окна, а человек с залысиной, скрестив руки на груди, внимательно смотрит с выцветшего газетного портрета, по-деревенски наклеенного на кусок фанеры.

ЧАСЫ ИДУТ

1

Открытие весенней охоты по перу, а радости никакой. Хотя утятники обычно ждут этого дня, готовятся, проверяя манки и снаряжая патроны, распаяют воображение чтением соответствующей литературы. Но уж если ты писатель и во всем остальном у тебя не так, как у нормальных людей, то стоит ли ждать, что в смысле охоты истончится эта всегдашняя разнища?

Все же на другой день сбегал на Казариху, но та еще во льду. И за деревней озер — кот наплакал, да и те, что есть, вымерзли или пересохли. А на бережку длинного изогнутого озера недалеко от электроподстанции кто-то уже сидел, соорудив скрадок из досок и сверху, для маскировки, накрыв рубероидом, чтоб не выделяться на черной пашне.

Ничего не оставалось, кроме как свернуть в лес и старой тракторной дорогой побрести домой, а по пути, может быть, поднять глухаря или тетерева.

Так я и поступил, впрочем, и в лесу не встретив ни одной птицы. Зато нашел наручные часы, забытые еще в октябре, во время соболиной охоты, на том самом месте у выворотня, где пил чай. Они до сих пор идут, правда, врут на шесть часов. Видимо, в морозы механизм все же останавливался, а когда пригрело и стаял снег, крошечные шестеренки встрепнулись, сместились на пол-оборота, проверяя, все ли с ними ладно, и снова пошли, затикали своими стрелками посреди моря разливанного талой весенней воды и первых подснежников...

Часы идут! Прожить страшно, вот что. Проснуться однажды белым-белым, выйти с клюкой во двор. Жаль, нет на земле такого священного холода, который выключал бы в тебе жизнь, когда она пуста и бессмысленна, и, наоборот, запускал снова, едва проглянет солнышко на твоём небосклоне. Глядишь, и натикала, натекла бы пара-другая лишних денечков, которых, возможно, и не достанет, когда уже все, казалось бы, поймешь в этой жизни и помечтаешь с полным устоявшимся знанием о ней прожить сверх нормы хотя бы еще один день. И, конечно, такого дня не будет, никто тебе его не поднесет на блюдечке! И это по-своему хорошо и правильно, ведь имей мы возможность «откладывать» срок своего ухода, а уж к смерти не было бы такого трепетного, почти религиозного отношения, а уж к жизни, к скоротечности ее тем более относились бы без должного уважения, как это и без того ведется на Руси.

2

Вечером того же дня: тепло, светло! Ребятишки бросают камни в воду. На лавочках, как в прежние времена, сидят люди. Наблюдает за льдом в Лене, ставят палочки на ночь, чтобы отследить, насколько к утру поднимется вода, которая то уходит, то снова приходит, грозя затопить дворы. А большие настенные часы в поселковой школе сломались и бьют стрелкой на одном месте...

Глухие! Жизнь-то идет.

И ВЕК СПУСТЯ

Все хмурь в небе, ледяной ветер, а под вечер — косой, сильный! Не проходит и нескольких минут — всюду лужи, коричневые, как настой кедровой коры.

Выйдешь наутро: развязались поля и огороды, зачавкали под сапогом свиными мордами. В лесу отволгла и перестала шуршать старая листва, почернели елки и пихты, мерцают капли. Но змеино-шипящих ручьев нет: податлива весенняя земля и даже проливной дождь укатывается в нее глубоко.

К обеду и вовсе сухо. Деревенские копошатся в палисадниках, счесывают граблями лохмы прошлогодней травы и, заложив в железные баки, жгут за оградами. Дымные шлейфы плывут над улицами, из конца в конец поселка гуляет этот горький запах.

А уж вечер, как подарок, — ясный и теплый. Ветра нет. На горизонте что-то нежное, розовое, вроде земляничного мороженого. Чутко. Тихо. Иногда — резкий тугой хлопок, словно громыхнула бумажная хлопушка...

Это мальчишки, голые по поясу, играют в футбол на школьном стадионе. И не более века отделяет их от сверстников, которые вот так же рвались до темноты, гоня за околицей грязный колобок из рваного башмака и тряпок. А если били штрафной — прежде плевали на него, цедя изо рта много и долго, да потешались над вратарем, застывшим в скотных воротах с намерением не пропустить даже муху, да орала молодыми лужеными глотками, когда тот сгребал на лету все равно что перехваченную гранату:

— Фу-у, чу-ух-ха-ан засиф-фа-аченный!

Не те ли отзвучавшие голоса я слышу в этот вечер? Не далекие ли и неизвестные мне жизни аукнулись в теперешних пацанах, липких от пота? Не мои ли это предки вернулись из войн, революций, мора и лагерей, выгнулись, как травинки после дождя, и снова зазеленели под солнцем, как будто и не знали еще красного заката, а был в их жизни только рассвет? А коль скоро это все они, милые русские люди, и если мы никогда и никуда не уходим, как нас ни провожай, нам ли бояться смерти, черта лысого?..

В ДЕТСТВЕ

1

Солнце горело ярче, на тополях светился первый пух.

Мама стирала во дворе, в воздухе над тазом кружились мыльные пузыри, как маленькие синие галактики.

Ты вошел, дружок, в страну знаний.

Вычитать и умножать, малышей не обижать.

Без сопливых гололед.

Бутерброды в школьной столовой ели, отодвигая колбасу от зубов по непропорционально большому куску хлеба, глотая слюни, отсрочивая праздник.

Лето — самые длинные каникулы.

Ходили в чахлый березняк на болоте, искали диких голубей, а промазав из лука, бежали за стрелой, возвращались с холодными лягушка-ми за пазухой.

Бабушка и дедушка были живы...

2

Первый снег — как мокрая салфетка: идешь, отрывая куски.

Первые стихи прячешь под подушкой.

Первые боли ни от кого не прячешь.

Первую кровь — прощаешь назавтра.

Печаль светла.

Простота бесконечна.

На губах — пятно от шоколада фабрики «Красный Октябрь» и любимой девочки имя.

Все твое лежит под новогодней елкой.

Дворовый коммунизм — складчина.

Часов не замечаешь.

И в смерть не веришь...

«Влюбились с первого взгляда, поженились, жили душа в душу и умерли в один день...»

А в жизни: забросили удочки, и поплавки поплыли рядом.

Я:

— Видишь, наши поплавки уже познакомились!

...Было это на летних каникулах. Катались потом за поселком на велосипедах, упали, приклеивал к ее разбитой коленке нализанный подорожник. Обменялись адресами — и ни разу не написали.

«ИДЕТ» СТРЕКОЗА

«Филология — то же самое ужение рыбы, и здесь можно достичь выдающихся результатов. Но чтобы знать водоем изнутри, нужно быть рыбой...»

Сколько лет прошло с тех пор, как мне, студенту филфака, явилась эта снобистская мысль, а все-таки не стерлась из памяти и снова напомнила о себе!

Я как раз стоял с телескопической удочкой на галечной косе, потому что второй день «идет» стрекоза и шум — как будто шуршит на ветру конфетный фантик. Плеск: это вылупившиеся стрекозы, еще не размяв крылья, падают на воду, где их склевывает рыба. За вечер берестяной турсук полон ельца и сороги. Между перемежающимися тонами начищенного серебра и зачерневшей музейной бронзы — как драгоценности на дне сундука — лежат молодые линьки и редкие хариусы. Отливает крапленным изумрудом красноперый окунь. И еще характерная черта этих дней: деревенские кошки крадутся под речным угором, стерегут стрекоз, когда те выползают из коконов, бегут за ними, летящими низко, и, сбив, мягко прижимают лапой. Некоторое время пружинно поводят хвостом, должно быть, утишая в себе охотничий азарт или, наоборот, распаяля его...

Впрочем, чтобы это постичь, мало быть писателем. Нужно — рыбой, кошкой, стрекозой. Или жить в деревне, где приходишь к пониманию вещей без посредства бумаги, с некой первоначальной непосредственностью, как будто никакой бумаги, никакой литературы никогда не было и все это, весь этот мир, еще никем не познанный, едва-едва образовался во Вселенной, и тебе, а не кому-то другому выпали счастье и мука впервые лицезреть его и оставить в Слове.

СТО ПЯТЬДЕСЯТ МИНУТ

Десяток гладких красноперых ельцов, четыре брюхатых ерша, окушок — как гребешок... А снизу, со стороны Якутии, уже напоззло! Как в садке живые рыбы, засверкали тугие молнии.

— Гребанный Экибастуз! — заорал старик Смертеев, кубарем сматывая леску на удочке, и скорее в рыбацкую теплушку, поставленную на угоре. А в теплушке уже набилось — как в сельском клубе на «Маленькую Веру» в начале девяностых...

Собрался и я. Но едва оседлал велосипед, как требовательно толкнуло в грудь. Не то что сидя, а даже встав на педали, не стронуть с места!

Ветер! Шорох! И белые — отчетливые на свинцово-синем, прямо-таки

морском фоне — космы в реке! Кусты при дороге — дугой! Шум! Листьев шелест! Нырнул под боярку — настигло, как зверя картечью. Потом шарахнуло градом. Потекло-покатилось за шиворот...

Выбрался и побежал, толкая впереди себя велосипед, — в ливень, в град, звонко лупящий по велосипедным крыльям. Спицы звенькали под шквалом льда и капель, и казалось: опрокинь железную лошадку на спину — со страшной скоростью раскрутятся колеса!

Словом, секло так, что не мог поднять лица и посмотреть, есть ли в небе просвет. Да и как было посмотреть! Вполне могло выклевать глаза, ведь даже когда попадало по пальцам — ощущение, будто прошлись гачным ключом.

Не заметил, как показалось кладбище. Рванул по глине, уже пузырящейся и хлопающей от множества капель. Юзил, как пьяный на льду, и пару раз едва не завалился.

Пока домчал до избушки, в которой копальщики греются зимой, подвернутые бродни были полны. В сенцы, где грудись лопаты, ломы и дрова, уже намело косым порывом белую полосу града. Наступил, вбегая под крышу, — хрумкнуло под сапогом катышками пенопласта.

В избушке то же — течь! Протекло сквозь потолок, залило пол из грубо подогнанных досок. Солено запахла мокрой ржавчиной прогоревшая печка, на которую просочилось по трубе.

Пригляделся: стол, табуретка. На столе — склизкий ком грязного хлеба, пластиковая одноразовая посуда, бутылки из-под пива и водки. На нарах — созревший ватный матрас, задравшийся с одного конца, и в этом месте на широкой плахе — длинная плесень, похожая на струйку высохшего молока.

Сидел придавленный, смотрел сквозь конопатое от мушиных точек оконное стекло, как град хлещет по велосипеду, наспех приставленному к избушке...

На могилы смотреть не хотелось.

В углу рамы, воткнутая за штапик, налипла к стеклу карта мобильной связи с номинальной ценностью в сто пятьдесят минут, и это почему-то неприятно поразило. Взял, повертел. Вообразил, как кто-то из посетителей этого жуткого логова, прихлебывая чифир, достал мобильный телефон, тюкнул пальцем, запалив светящийся квадратик, проверил счет, цокнул языком, вынул карточку из кармана и стал сосредоточенно соскребать с кода защитный слой, загваздав ноготь черной кожицей. А в это время стояла распахнутой могила, которую надлежало углубить еще на два-три лопатных штыка, горел в ночи костер, и, кроме звезд в небе да кладбищенских крестов, на земле никого и ничего не было в округе. Но с кем, о чем он говорил здесь эти сто пятьдесят минут?

...Ехал после бури домой, прежде долго выкатывая велосипед с раскисшей глины на гравийную дорогу.

В небе еще рокотало. Время от времени стриг дождь, сменивший ливень на развилке вечера и ночи. Иногда электрически вспыхивала молния, и на въезде в Подымахино — там, где раньше стояла церковь, — обожгла глаза, отразясь — металлическая, витая — в блестящем от дождевых капель руле. А когда проезжал избу Плотниковых, заметил, что с крыши сарая рухнул самодельный водосток...

Сто пятьдесят минут на кладбище! И ливнем оборвало желоб.

ОТКРОВЕНИЕ

В душный летний день опустился на колени перед кедровым выворотнем, поверх которого уже вырос мох и рассыпалась веселым красным полымем брусника. Припал к родниковой лужице, стараясь не потревожить лежавшие на дне листья, хвою и прочий лесной сор. Пил. И по мере того, как вода глоток за глотком заливалась в меня, забывались мои судорожные шараханья по тайге в поисках питья, и по-другому высвечивалась моя одинокая, заплутавшая от тропинки к тропинке, от черновика к черновика, от сердца к сердцу писательская жизнь. И чем утоленье было ближе, тем явственней проступала давняя, в чем-то наивная и уж конечно не новая мысль о том, что и откровение в творчестве — вроде родничка в сухом летнем лесу. Долго, с горькими лишениями ищешь его, натываясь на тычки, плевки, ревность, зависть, глухое молчание и все то, что ниспослано тебе за право владеть талантом. Наконец, видишь впереди неясный просвет. Идешь, как сквозь чашу или бурелом. И уже там, откуда светило и где вправду светло, много-много пьешь, подозревая, что отпущено, может быть, с макову росинку, но радуясь и этой мере и не боясь осушить ее в один присест. Бывает, переусердствуешь и взболтнешь, а после ждешь, когда осядут самолюбование, гордыня и подобная уробная гниль. Потому что грязная лужа отстоится, а плохая книга — никогда.

АВГУСТА ПЕЧАТЬ

На небе ни облачка. Тихо: едет по улице бензовоз и, кроме механистического сапа его, слышно, как дорожные камешки, разбрасываясь из-под колес, катятся с характерным стуком.

Жарко. Особенно черна и прохладна тень всякого строения, будь то баня, сарай или дом. На юру тем более пекло, и слепит, как ни в какую другую пору, мелованная страница журнала. В подвесном ящичке из реек, обтянутом тюлем, томятся ельцы и щуки, и если с треском, как с картонной коробки скотч, ободрать сухую жесткую шкурку и уцепить рыбу зубами, мясо вдоль позвоночника снимется рубиново-красным ломтиком с завихреньями яркой недовяленной мякоти в месте разрыва.

Время к осени. Через неделю-другую копать картошку, воздымятся дымокуры. Кое-кто уже скосил ботву, чтоб земля подсохла за оставшиеся дни и картошка налилась на прощальном летнем солнце. Но пока ни в огородах, ни в оградах ни души. Только воробьи с цвирканьем скачут по поленнице, карябая кору, да кот, жмурясь, стережет их в траве. А поднимется собака попить — лакает из чашки крупными глубокими хлебками, но и потом, часто дыша, стоит с закрытыми глазами, свесив розовый язык.

В поселке торжественно, как в школе перед праздничной линейкой. После обеда, когда отхлынет жара и на солнце наползет кружевное облачко, пенсионерки в широкополых панамах водят городских внуков и внучек за руку. Кормят мороженым по первому требованию, а проводив с вечерним автобусом, плетутся одни-одинешеньки и догрызают пустые вафельные стаканчики, по кругу обчиканные детскими зубами.

— Пусть с родителями живут! — говорят, кивая сами себе. Но и са-

мим себе не очень-то верят, достают из кармана дешевые мобильные телефоны. Минуту-другую смотрят на монитор: не зазвонит ли?..

На закате ясно, выразительно. Прекрасно. Ветерок и колебанье травы, которую до темноты щиплют пущенные в роспуск коровы.

ДЕРЕВЕНСКАЯ ЭТИМОЛОГИЯ

1

Плавали с Жекой Симоненко в Малиново — ловить щук. Лодку брали у тетки Раи Логиновой, которая и по сей день живет на Береговой. Лодка была дырявой, мы с Жекой попеременно гребли веслами или консервной банкой отчерпывали воду, и Жека с восторгом орал:

— Как в дуршлагае!

...Было нам тринадцать-четырнадцать. Спиннинги у нас были еще советские, с поточенными пропускными кольцами, сквозь которые протекли многие километры лески. Расхлябанные инерционные катушки постоянно сбились, клинили в самый неподходящий момент и делали «бороду», почти как у нашего трудовика. Сама леска была толстой и грубой — легендарная «Клиновская», не единожды, после бесплодных попыток ее распутать, перебитая камнем, а от этого вся в узелках, как провод телефонной связи на поле боя. Увенчивали наши спиннинги массивные медные или латунные блесны из покупных наборов «Рыболов-любитель». Тяжесть материала давала то преимущество, что даже в ветреную погоду блесны почти не парусили при забросе; правда, при этом рыскали у самого дна и часто цеплялись за камни и коряги. А щук в Малиново было столько, что редко мы возвращались берегом Лены без самодельных кукунов из талиновых рогулек. На такие мы обычно называли травянок — небольших молодых щук, а то и взрослых крупных с острыми шилами-зубами и жабрами как бритвы. Щуки, пока мы шли к лодке, блекли на вечернем солнце и подсыхали, отчего казались меньше, чем были на самом деле. Но все равно с паромом, перевозившего доярок, нам кричали:

— Куда рыбу деете, рыбаки?!

Малиново на том берегу, и в те годы на тамошнем угоре стояла летняя дойка. Туда в начале июня переправляли совхозное стадо, а осенью доставляли обратно. Рядом с дойкой в реке водилось много щучьих гнезд, все об этом знали, в том числе мы с Жекой. Только нам не было известно, почему щуки табунятся здесь, а не где-нибудь в другом месте. Но дядя Миша Чупров, у которого мы заимствовали весла, как-то объяснил, что скисшее молоко доярки выливают в Лену...

А Малиновым это место называли потому, что на буграх у леса много сладкой медвежьей ягоды.

2

Спустя годы от Малиново сохранился лишь ориентир. Название почти забылось, хотя ягоды еще полно, и летом ее рвут медведи, которых нередко видно прямо из поселка. Дойки тоже давно нет. Но щуки, как прежде, все еще водятся под тем берегом...

Может быть, у рыб есть память, и она длиннее, чем человеческая?

...Мечтала выучиться на «фельшера» — «коровушек лечить». Потом своим ли хотеньем, по совету ли, но сделала поправку, наострилась в Киренское медучилище.

— Папа не пустил! Меньших-то надо было поднимать...

Зла не держала. Родителей называла только так: папа и мама.

...Пошла на жатву, на другую колхозную работу. В апреле пилила лес «пятериками» («Чирки примерзали к ногам!»). Не всегда попевала. Председатель грозился сослать на Соловки.

— Ну, гляди, Павел Федырыч, не заглянет два солнца в оконце! — сказала тогда.

И точно: года не прошло, как сняли за перегибы.

...Вскоре устроилась избачом. Ездила в райцентр на конференцию культработников, снималась для общего фото. Уже была семья: муж, четверо детей. Ходила пятым...

— Две печки топила — железную и кирпичную! Сама дрова колола-носила. В мороз — попробуй-ка!

...Последние год-два до выхода на пенсию мыла в сельсовете полы.

— Ни одной бумажки со стола не взяла! Сейфов от меня никто не закрывал, не было такой моды!

...А теперь, что бы ни случилось — она одна крайняя. Как Наумов умер — с того и пошло.

— Гнут, как талинку! Пенсию мою забирают, да ишо командавают...

...Нынче ссора произошла потому, что схаркнула на тротуар и растерла галошей, а дочка увидела в окно.

— Прожила век за холщовый мех! В стужу без варежек ходила, а теперь в тепле мерзну. Собралась бы и ушла, да к кому пойдешь?..

Ночью старуха поднималась, выходила в сенцы, прикладывала к лицу капустный лист.

ОКНО

Мама собралась мыть окно и уже занесла и поставила на табуретку тазик с водой, пенно-синей от специального моющего средства, а сама ушла за чистыми тряпочками. Я отогнул гвозди и толкнул раму в палисадник, пошатнув запыленные стекла. В комнате запахло лежалыми листьями и стало слышно, как на ветках рябины колеблются те последние, что еще не опали. И вдруг стало понятно, почему старые люди мало спят, рано встают и какая невозможная сыновья боль в первой седине моей мамы! И как только обо всем этом подумал, так сразу почти физически почувствовал, что с этим грустным прозрением и сам постарел на много лет вперед, на много шагов приблизился к своему краю и уже сейчас, из этого по-своему единственного утра ранней осени, совершенно явственно, как вот это раскрытое окно, увидел этот край и то, что за ним, тоже на свою беду увидел.